

Мари Дюплесси

В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества; лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокотка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее

в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу и — представьте себе наше удивление, Листа и мое, — фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист,

ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос: кто эта женщина, такая фамиллярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами, — она под села даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими круже-

вами; в ушах ее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два раза из вежливости; я находился как раз в это время в том скверном настроении,

когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в Опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз — в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.

В этот вечер Дюпре начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это

предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. Судя по движению ее лорнета, легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вниманием, равнодушная ко всем, — и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попадал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц,

пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности... Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов: скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта ску-

ка служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, — увы! — сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчерашнюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.

Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым ухом беспрерывно и бесконечно все одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Какая молодость!.. Как понятны становятся слова м-ль де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подружкой принца Конде и мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффэ, м-ль Дежазе и актеров из Пале-Ро-

яля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступить Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля; ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику ожидали еще несколько часов удовольствия, под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя шубу на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать ее белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с портьершей, требуя у нее пять франков сдачи.

— Сдачу оставьте себе, — сказала она портьерше, приветливо кивнув ей.

Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о своей красоте.

Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой, и мало цenia эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело; но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезнувших состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах, неизбежных спутниках потемок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то тяготение к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, которые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и соотрапезницей. Бельгия собрала на

вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оранжерей, цветы из своих садов, бриллианты своих корон. Невероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого празднества. Французское пэрство и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовику XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения, от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских кокоток мы увидели или, вернее, я увидел эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Льстивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней; как всегда, спокойная и презри-

тельно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц останавливался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей красотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнакомец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый; по-видимому, он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впечатлительной особе, которую он вел под руку; она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность; ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени; казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англо-немец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу; на по-

вороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, непритязательного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

— Вы здесь, — воскликнула она, — дайте мне руку и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса, так, как его танцуют на берегах немецкого Рейна, его настоящей родины. Она танцевала очаровательно, не особенно быстро, не особенно наклонялась, послушная внутреннему ритму и внешнему темпу, едва касаясь легкой ножкой гладкого пола, мерно подскакивая, не сводя глаз со своего кавалера.

Около них образовался круг, и то одного, то другого касались прелестные волосы, развевавшиеся в такт быстрого вальса, и легкое платье, пропитанное нежными духами; мало-помалу круг становился все теснее и теснее, другие танцоры останавливались, чтобы посмотреть на них, и само собой случилось, что высокий молодой человек, который привел ее на бал, потерял ее в толпе и тщетно искал ту, которой он с таким отвращением предложил свою руку... Нельзя было найти ни этой женщины, ни ее кавалера.

На другой день после этого праздника она приехала из Брюсселя в Спа прекрасным утром,